

стало разворачиваться в обратную сторону: она была принята на работу в Институт этнографии АН СССР на должность научного сотрудника, ей дали комнату в коммунальной квартире. Через несколько лет (и после трех судов) была возвращена дача в Ижорах, жильцов выселили. Нина стала интенсивно работать. На основании архивов, писем, мемуаров и контактов с бывшими учениками Л. Я. Штернберга она написала о нем монографию, вышедшую в издательстве «Наука»; в 1975 г., написала воспоминания об Андрее Белом³, в специальных журналах опубликовала статьи по русской этнографии, увлеклась переводом и пересмотром неясных мест «Слова о полку Игореве» и стала трактовать его по-своему, говорила, что ставит его «с головы на ноги». Она написала книгу, где доказывала, что автор «Слова» никак не мог «воспевать» поражение и плен Игоря Святославича, что он только сравнивал его с другим Игорем, Рюриковичем, воспетым Бояном, которому и «пели славу деды Дуная». Это противоречило принятым установкам, акад. Д. С. Лихачев дал отрицательный отзыв, и книга не была напечатана. Тогда Нина выступила с докладом в Доме ученых и тоже не получила одобрения. Но ей удалось напечатать статью о «Слове» в журнале «Сканда славика», издающемся в Копенгагене. Она подарила мне оттиск с надписью: «В память многих десятилетий нашей дружбы». Но книга осталась в рукописи. Где она? — не знаю.

Шли годы. Пришла старость. Нина стала глохнуть и слепнуть и не смогла больше жить одна. Она поселилась в пансионате Дома ученых в Павловске и умерла 4 июня 1986 г. Я не сразу узнала об этом и потому не смогла проводить ее в последний путь. У меня нет даже ее фотографии. Только оттиск статьи и стихи колымских лет.

И. Д. Хлопина

Примечания

¹ За последнее время материалы о н. И. Гаген-Торн опубликованы в «Огоньке» (1989, № 28) и «Семье» (1989, № 28). Один ее рассказ и восемь стихотворений вошли в сб. «Город у моря». (Магдан, 1989). Готовятся к печати стихи в сб. «Лагерная поэзия» в Изд-ве «Московский рабочий». (Это и следующие примечания — дочери Нины Ивановны — Г. Ю. Гаген-Торн).

² Все рукописи о тюрьме и ссылке, ранние повести и стихи лагерной поры, а также часть писем известных людей находятся в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), в архиве Нины Ивановны.

³ Опубликованы в сб. «Андрей Белый. Проблемы творчества». М., 1988.

© 1990 г.

Н. И. Гаген-Торн

В ССЫЛКЕ НА ЕНИСЕЕ

1. Из тюрьмы на поселение.

Наш этап держали в Красноярской тюрьме неделю: ожидали хозяев, которым нужна рабочая сила. Наконец шелкул замок, открылась дверь. «Построиться!» — сказал надзиратель, — «Смирно!»

Он прошел по рядам женщин вместе с грузным мужчиной в меховой шапке и валенках. Мужчина останавливался, осматривался, тыкал пальцем: «Эту, эту и эту!»

— «Шаг вперед!» — командовал надзиратель. Девушка выступала.

— «Фамилия? Имя, отчество?» — Отвечала. Надзиратель отыскивал в папке «Дело», слисал фотографию с девушкой и передавал потребителю. Потребителю интересно получить молодую и здоровую рабочую силу. Таких и отбирали.

— «С вещами!» — Девушка, готовая вырваться из тюремной камеры куда угодно, кидалась к своему чемодану.

Камера постепенно пустела — каждый день наезжали потребители.

Через неделю остался только бросовый товар: немолодые или слишком ин-

теelligentного вида женщины. Запоздавший потребитель, махнув рукой, вынужден был взять всех.

Был январь, когда нас погрузили на машину, вывезли из города. После многих месяцев увидела я у края дороги огромные рыжие сосны под шапками снега. Сине-лиловые тени бежали по снегу за нашим грузовиком. Сосны кланялись, когда он подскакивал на ухабах, поднимая морозную пыль.

Ехали целый день. В деревне остановились в темноте. Нас провели в жарко натопленную избу. Не рассматривая и не расспрашивая, продрогшие и усталые, едва проглотив хлеб с кипятком, мы повалились на широкие доски пола и заснули.

Я поднялась, когда рассвело. Кругом спали. Натянув бушлат и шапку, вышла на улицу. Первый раз одна, после тюрьмы. Широко шла накатанная дорога. Прямыми столбами поднимался дым из домов. За рядами усадеб густо синел лес. Это было самое радостное.

Я не знала, куда нас привезли, как сложится будущее, радостью были и нетронутый снег, солнце, синие сосны и скрип снега под валенками. Возможность идти по лесной дороге вправо, влево, куда вздумается. От воздуха кружилась голова. Мороз щипал, пытаюсь окрасить вялую, как проросшая картошка, кожу. «Ладно, ладно, — думала я, — щипли, слабость пройдет, только бы ходить по лесу, дышать, смотреть на небо».

Вон заячий след... Ворона с шумом перепорхнула, осыпая снег. Закачались ветки... Хорошо!

На дороге показалась запряженная в дровни корова. Подле шел человек в стеганых брюках и бушлате, до глаз закутанный платком. Они везли дрова. — «Здравствуйте! — сказала я. — Как называется эта деревня?» — «Бобровка», — женским голосом отвечал человек. — «Почта здесь есть?» — «Нет, почта в Пятковке. Вас вчера с Красноярска пригнали?» — Она размотала лицо, чтобы лучше беседовать. — «Из Красноярска. Сколько досюда километров?» — «Поди двести будет». — «А до Енисея отсюда?» — «До Залива — это деревня на берегу Енисея — верст 7. Там нашего колхозу бригада». Женщина критически осмотрела меня: «Председатель вчор бранился, — никудышних, говорит, привез. И вправду... Какая с тебя колхозу польза?»

— «Никакой. — отвечала я — Я в Бобровке оставаться не хочу, поеду в Залив, на Енисей», — «Нук чо? Зайди в правление, поговори. Во-он правление-то!» — «Пойду.»

В правлении было жарко и накурено. Взволнованно толпился народ, прибывший с нашим этапом. Председатель спрашивал, у кого какая специальность? Что может делать? Дошел до меня: «Что можешь работать? Коров доить можешь?» — «Нет. Я инвалид, физически работать не могу.» — «А чем жить будешь?» — «Там посмотрим. У меня взрослые дети, помогут.» — «Пятая баба работать отказывается! Чего же я вас возил?» — «А ты нас спрашивал? Нам даже не сказали, куда едем». — «Это верно, не сказали», — он махнул рукой...

Через народ ко мне протиснулся здоровенный сивый мужик, протянул руку — «Я столяр, — сообщил он, — становись моей бабой, прокормить смогу». Он удивился, что я отказалась от брачного предложения. — «Чем же жить будешь? А у меня специальность хорошая!» — «Поеду в Залив, там посмотрю».

Столяр прошел дальше, перебирая приехавших женщин, подыскивая жену. Я вышла из правления, пошла продавать рубашку, чтобы дать телеграмму — денег у нас ни у кого не было, не выдали из тюрьмы.

На улице остановила женщина: «Мне старушка нужна, смотреть за ребенком, я ветфельдшер, в разъездах все — не пойдете ли ко мне? Все лучше, чем в колхозе!» Но я отвергла и это предложение: «Поеду на комиссовку в райцентр. А пока — хочу жить в Заливе».

Дня через два колхоз дал подводу под вещи и мы — пять человек — переехали в Залив.

Князь сибирских рек, Енисей, сочетает прозрачность и быстроту горной реки с необъятным простором. Проходя через жаркие хакасские степи, он так нагрел

вается, что у Красноярска становится мощной артерией, обогревающей сотни километров вниз по течению: вдоль его берегов не бывает заморозков до половины октября.

Русские старожилы чтут живительную силу Енисея: в деревне Залив в 50-е годы XX в. еще выходили к нему с поклонами, когда он весной ломал лед, выносили и пускали по воде хлеб-соль.

Я увидела первый раз Енисей не весной, когда он гремит ледоходом, не летом, когда он, блистая, несет свои теплые воды, а зимой. Огромную снежную пустыню, отороченную синеватой зеленью сосновых боров, да серой твердью скал на другом берегу. От солнца лежали на нем ярко-синие тени. Было тихо, но резкий холод захватывал легкие, ослабевшие в каменных мешках тюрьмы. Вдоль берега тянулись прясла огородов, упираясь в береговой обрыв. Коричневые бревна домов выделялись на белых снегах.

Поклонилась я Енисею и заплакала, от радости перед его красотой.

Жить в деревне стала в избе у мохнатого старика-бакенщика в боковушке, за перегородкой. Веселой алой краской, что красят бакены, были окрашены в избе лавки, очелье печи, кадка с водой и кровать. Вечерами хозяин сидел за самоваром и щеки его становились такого же алого цвета. Но старичок он был строгий — даром жечь керосин не велел: в восьмом часу вечера запырал калитку на улицу и тушил лампу. Он забирался на печь, а я устраивалась за перегородкой.

Жизнь входила в тихое русло: память стирает такие дни, чтобы восстановить их, надо было отыскать обрывки записей, перечитать уцелевшие письма, свои и друзей: Григория Абрамовича Шайна и Веры Федоровны Газе. У них, в Симеизской обсерватории прожила я счастливые месяцы летом 1948 года, между первым и вторым турами. Эта дружба была отрадой в лагерях, поддержкой в ссылке: в те времена лишь немногие не боялись помогать заключенным. Сохранились и отрывочные дневниковые записи. Привожу отрывки из них.

15.I.53 г. Занесенная снегом деревня. Полное одиночество. Оно особенно трудно, когда человек слаб и болен. Письма отправила. Пока дойдут до Москвы — 10 дней. Обратное — сколько же, ведь почта из Пяткова ходит не каждый день. В колхозе выдали всем бывшим лагерникам «аванс на будущие трудодни» — 15 кг картошки. Но нужны деньги хотя бы на муку (хлеба здесь не продают — надо купить муку и печь оладьи). Когда-то придут деньги?

17.I. Никогда в жизни не было так тяжело. Все, о чем ни подумаю, — несет боль. Одиночество полное: ни друзей, ни детей, некого ожидать. Да никому, кроме Тани, и я не нужна. А Таня — беспомощно лежит на нарах в лагере. Вспоминаю о «Ломоносове» — мучительно ожидание, как за любимого сына в бою: пробьется ли эта поэма в печать? Вспоминаю «Котомку» — беспомощность, близкая к отчаянию: получу ли написанное — вышлет ли Ликин? Когда уезжала из лагеря, он вызвал меня к себе и сказал: — «Если хотите — получите рукопись, как я обещал. Но предупреждаю, ее могут отнять на первом этапном обыске. Если доверяете мне — советую оставить, я вышлю вам на место». Согласилась, конечно. Как приехала — написала ему свой адрес. Ответа пока нет. Как мало надежды увидеть и это дитя!..

А живые, реальные дети? Они живут собственной жизнью, и я им не нужна. Написала, чтобы выслали деньги. Горько в 50 лет брать деньги от детей. Что может быть горше сознания, что есть силы, есть мысли и знания, но они никому не нужны? Ты выкинута из жизни. Тебе предлагают на выбор: чистить свинарники или плести маты в колхозе. В лагерях было легче: там видимые глазу заборы и стены, а тут самое сильное глумление, которое может быть совершенно над человеком: говорят: «Вы свободный гражданин, вы даже не лишены права голоса, будете участвовать в выборах», а без разрешения коменданта не можете двинуться дальше, чем на 10 км.

19.I. «Робин, Робин, бедный Робин!» — кричал попугай Робинзона... А у меня нет даже попугая, который пожалел бы меня.

25.I. Наконец получила деньги и могу расплатиться с долгами за жилье и

за молоко. Договорилась с комендантом, что еду в Казачинск к врачу. Ехать надо из Пяткова, там проходит автобус Красноярск—Казачинск. Это новость для меня — такие длительные, на сотни километров, рейсы автобусов. Очень интересно. И поеду, «как все люди», ни сопровождающего, ни конвоя.

26.I. Отдала деньги за молоко. Они порадовались не деньгам, а тому, что я их получила. Хорошие старики! Ведь он сам пришел ко мне две недели назад, поздоровался с Сергеем (моим хозяином — бакенщиком) и говорит: «На одной картохе-то — ноги протянешь. Приходи к нам за молоком. Будут деньги — отдашь, а не будут — не обеднеем от литры молока, а тебе поддержка. Пойдем со мной, старуха тебе нальет. И ходи к нам всякий день». Пошли. Хороший, крепкий дом. Домотканые половики, на окнах «сады», на лавках — домотканые дорожки. «Привел, — коротко сказал старик, — налей в свой бидончик, у ей посуды нет». — «Пожди, — отвечала старуха, — пообедаем, тоды и налью. Садись с нами обедать, гостюшка.» — «Нет, спасибо.» — «Спасибом сыт не будешь, — сказал старик, усмехаясь, — я сам такой же, как и ты, ссыльный был, знаю, каково на новом месте обживать.»

Разговорились... Оказывается, он был раскулачен. Их забрали из Залива «полдеревни», названных кулаками. В конце сентября 1930 года посадили на баржу и спустили вниз по Енисею. Выгрузили, когда встала река и дальше везти нельзя было. Ни жилья, ни продуктов. Стали рыть они в мерзлой земле норы, собирали плавник на подпорки и на топливо. Деги и старики у всех за зиму перемерли, взрослые — кое-как уцелели: «Сибиряки привышны», — сказал он, усмехаясь. Питались дичиной, что попадала в петли, ели песцов да рыбу, что ловили подо льдом. Словом, около половины людей в первую зимовку вымерло. Те кто выжил, кое-как приспособились. А потом рассосались из этого гиблого места кто куда. Во время войны не очень-то смотрели, кто куда делься. Жена у него умерла. Он вернулся в свою деревню, да и «прибился» к дому А. И. Она — вдова его двоюродного брата. Тот, «слава Богу, умер до раскулачивания». Жила она с сыном. В войну сына забрали на фронт, и он сгинул без вести. Вот и стали старики жить вдвоем — «ни мне без мужика, ни ему без бабы не прожить, — сказала она, — а мы, все-таки свои, вот и сошлись. Огород есть, старик рыбачит, за орехами ездит по осени, у меня — корова, живем помаленьку». «Не хуже людей живем. Кто работать умеет, его как ни дави — вымырнет» — подтвердил старик. Стала я у них брать молоко. И стали это первые мои друзья в крошечном одиночестве.

2.II. Была на комиссовке. Казачинск набит ссыльными, их, как тараканов на печи, и мечутся в поисках жилья и работы. Хватают любую. Нет, не хочу жить в Казачинске. Врачи тоже ссыльные. Они, конечно, прекрасно понимали, что мне нужна справка, чтобы освободиться от принудительной работы в колхозе, и сделали все возможное. Написали: дистрофия, ослабление сердечной деятельности, эмфизема легких. Толстый старый хирург Юрий Соломонович, не участвовавший в комиссовке, позвал меня к себе в гости. Он сам из Киева, отбыл срок в лагерях и попал, как и все мы, «навечно» в Казачинский район. Но здесь сравнительно неплохо устроился — работает по специальности, нашел новую жену, получили они двухкомнатную квартиру, колодец близко, есть электричество, почти по-городскому живут. Очень гостеприимны. Меня усиленно потчевали. Провожая, он сказал: «Комиссовка комиссовкой, но о здоровье-то вам надлежит серьезно подумать: состояние очень неважное». Я, правда, иногда чувствую такую слабость, что с трудом могу поднять ведро воды.

* * *

В начале февраля была назначена регистрация ссыльных у коменданта. Нам дали расписаться в том, что мы оставлены здесь «на вечное поселение» и обязаны ежемесячно являться на регистрацию. На некоторых эта бумага произвела подавляющее впечатление, но большинство приняло равнодушно — 3/к

привыкли не верить в «вечность» постановлений и не думать о будущем, абы устроить жизнь в настоящем.

Комендант принимал по очереди. В канцелярии сидели ожидающие. Группа мужчин на лавках рассматривала желтолицего человека. Японец? Самый настоящий интеллигентный японец? Откуда он тут взялся? Он заговорил со мной по-английски. Английского я не знаю. Ответила по-французски. Французского он не знает. Сошлись на немецком. Он знал его плохо, но немножко знал. И говорить не могли — кругом толпа и галдеж. Больше смотрели. Внимательные, скорбные глаза японца. Создалось понимание без слов.

10.II. Ни писем, ни книг, ни ответа от Ликина, выслал ли «Котомку». Галя (дочь — Галина Юрьевна Гаген-Торн) прислала письмо: «Отдыхай, поправляйся, деньги смогу высылать без затруднений.» Она добрая девочка, но от этого не легче.

Мыслей много, а делать ничего не могу. Как писать, если все написанное погибло? Да и на чем писать? Бумаги здесь не достать. Вышлют ли в посылке? Вряд ли написанное будет нужно кому-либо, дойдет до кого-нибудь. Но упрямый бес, владеющий мною, требует: пиши!

В лагерях я прочла прекрасную книгу Г. Уэлса «Мир Вильяма Клиссольда». Это исповедь английского интеллигента 30-х годов. Прочла, как пьют светлую воду из ручья, как в ранней юности внезапно находят друга.

Быть может, кому-нибудь, когда-нибудь, после моей смерти, эти записки тоже станут разговором с другом. Бывает: рукопись случайно сохранится и зазвучит в веках голосом человеческой души. Сохранился, например, отрывок египетской рукописи (Тураев приводит его в «Истории Древнего Востока»): письмо сcribes, написанное в период кризиса Египетской культуры. В ужасе и отчаянии сcribe пишет, что рушится государство и гибнет мир. Исполненный горечи и гнева, пишет о злодеяниях, творимых «рабами и низкими людьми», несчастях «благородных». Пишет с точки зрения своего класса, своего времени. Но — в силу искренности и страстности переживания — это звучит общечеловечно, криком через тысячелетия. Напряженность боли и страсти делает написанное бессмертным. Как переписка Абеяра и Элоизы или письма испанской монахини о любви. Напряжение боли создает душевную расплавленность, кристаллизующуюся в живые слова. Постараюсь и я дать неведомому человеческому братству пережитое со всей напряженностью. Не знаю, сумею ли: робинзоны косноязычны. Мне не с кем заострить и оттачивать мысль. В торичелиевой пустоте от нервности, отсутствия тренировки она стала суетливой и беспорядочной. Как в одиночестве из хаоса сформулировать виденье мира?

12.II. Собираясь писать в будущее, неведомым друзьям, может быть, внукам, вспоминаю Герцена. Он писал в будущее «Былое и думы». Но писал в Лондоне, располагая всеми библиотеками, временем, средствами, подводя итог плодотворным и получившим признание трудам. Ах, Александр Иванович, начинаю беседовать с Вами и Вашими воспоминаниями, по памяти, идя в прошлое, а с неведомыми друзьями — в будущее, не располагая ничем, даже бумагой.

Я сижу в маленькой сибирской деревне, на берегу Енисея. Может быть, много лет буду здесь сидеть. Снег. Горы, покрытые черным еловым и синим сосновым лесом, высятся перед моим окном. 80-летний старик, неграмотный, простой, как приречный камень, лежит на крашеной красной кровати, курит трубку, смотрит на меня одним голубеньким глазком, другой он давно выбил веткой на охоте. Ему не нравится, его тревожит — зачем я пишу?

Снег на коричневых срубах покосившихся домов. Одна, сама из себя, должна додумать мысли: о мире, о Боге, о человечестве и его путях. Должна потому, что иначе без этого не могу, не умею жить.

14.II. У меня нет ни книг, ни друзей, ни вещей. Нет среды, в которой привычно складывалась умственная работа.

Одна. Солнце над головой; зеленый шар под ногами. Оторванность от сегодняшнего дня и его дел дает чувство отрешенности и великой свободы. Но она — трудна. Отняли обыкновенную жизнь. У меня нет близких, с которыми я бы

могла беседовать за чашкой чая (нет ни чашки, ни чая тоже). Реальностью моей жизни стали те, кто умер, оставив след в книгах, и те, кто рождается, кому я должна оставить свой след. Прикрепленность к месту дает свободу во времени. Приходится или вовсе перестать думать или думать об общем и вечном. Ощущать жизнь как беседу с миром, Богом и человечеством.

А с кровати на меня смотрит голубенький глазок Сергеньки, не понимая, почему я пишу? Не любит, когда пишу.

15.II. Сергенька ушел. Я одна в избе. Могу спокойно расположиться за столом, писать. Только уселась — постучали в дверь.

— «Войдите! — Вошел — японец! — А, Хасэгава-сан! Здравствуйте!»

Сделав несколько шагов, он стал отступать назад, улыбаясь, приседая и кланяясь — вежливая форма приветствия у них. Я поднялась, тоже кланяясь, и протянула руку: «Садитесь, пожалуйста!» Пододвинула табуретку.

— «Пришел просить учить по-русски», — сказал он. — «Охотно, конечно». — «Деньги нет, могу работать: мусская работа — дрова!» — «Ну какая может быть плата, Хасэгава-сан! Очень рада, если смогу помочь. Книг вот нет... Придется без книг. Но прежде давайте пить чай, я только что получила посылку!»

Достала из русской печки кипяток, бросила ему в чашку хорошую заварку чая. Как он обрадовался! Оказывается, не пил настоящий чай все годы, что прожил в лагере. А японцу без чая, как курильщику без табака.

Объясняемся смесью слов: он русско-английских, я — русско-немецких (он немного понимает немецкий). Выручают иногда и формулы, например вместо «вода» — H_2O , и международная «латинская кухня». Ничего, соображаем.

28.02. Получила я от Ликина телеграмму: «Рукопись выслана адрес коменданта. Справьтесь и получите». Бывают же такие порядочные люди! Пошла в Пятково, к коменданту. Прошу выдать рукопись.

— «Нет у меня никакой рукописи!» — Показываю телеграмму.

— «Что же, мне телеграфировать оперуполномоченному в Темники, что рукопись потерялась?»

Посмотрел волком. Помолчал. Буркнул: «Зайдете через неделю.» Значит, рукопись давно у него, не хотел отдавать... А теперь — боится и не знает как поступить? Ну — добьюсь, выдаст...

Дальше — перерыв в записях. Не помню, почему. Может быть, потому, что подошли дни болезни и смерти Сталина, а про это нельзя было писать, слишком довлело «табу» даже мыслей о Сталине. Слышали ежедневно по радио краткие сообщения «болен..., опасно болен». Что? Что дальше? «Положение серьезное... Угрожающее... умер?» Ну? Что будет дальше? Надо делать невозможное, грустно-безразличное лицо...

Приезжавшие из Казачинска рассказывали: «В Казачинске многие плакали, когда читали о его смерти. Ссылным говорили: „Радуетесь? Напрасно радуетесь, лучше вам не будет“». — «В Красноярске тоже плакали». Ну-у?

Вы готовитесь, читатель, к отзвуку исторического события — смерти владыки? Каков он был в деревенской глуши? — А никаких: отзвук всегда отстает от событий, как звук от реактивного самолета. Как при попадании снаряда в воду — чем дальше расходятся круги, тем больше они замедляются. На претворение в деревенском быту и в сознании революции потребовались годы. На осознание сталинской смерти — месяцы. Вначале жизнь двигалась по инерции, без перемен. Подходила весна, она была насущнее сталинской смерти, осязаемее: необходимо подготовиться к весенним работам.

Население Залива смешанное: 1 — старожилы, 2 — поволжские немцы, высланные в начале войны, 3 — люди нашего этапа.

Старики жили воспоминаниями доколхозного времени, когда вольготней жилось, да гаданием, как устроит жизнь молодежь, убежавшая в города. Немцы, пересаженные на чужую почву, заботились покрепче врасти корнями. Люди нашего этапа суетились, как грачи, которые, прилетев, начинают таскать прутья для гнезда.



Рис. 1. Нина Ивановна Гаген-Торн в своем доме
в деревне Залив

И всем было не до Сталина.

А мне старик Сергеич сказал: «Мне тебя в доме боле не надобно — дочь приезжает. Ищи себе фатеру».

— «Ладно, через неделю уйду.»

Но «фатеру» искать не стала: надоело по чужой половине ходить. Бродя по деревне, давно уж заметила крепкий пятистенник с забитыми окнами. Пустой после раскулаченных хозяев стоял. Захватив с собой топор, вошла по шаткому крыльцу, без большого труда отогнула гвоздь, закрывавший дверь. Вошла. Одна половина здорово разрушена. Рассыпается и оседает в подполье большая глинобитная печь. Над ней в крыше дыра, снег и дождь годы падают на печь, в эту дыру. В забитых окнах нет рам. Ходуном ходит пол. Но цела дверь в другую, меньшую, половину. А там почти нет разрушений: печь и стена требуют небольшого ремонта. Крыша цела, это видно по потолку без потеков. Окна? В одном даже стекла целы. В другом — надо сделать раму и остеклить. Заглянула в подполье: целы балки пола, доски только разошлись. Приспособить дом для жизни — в моих силах. Сговорила с властями — отдали мне дом для жительства. Надо отремонтировать. Наискосок жил немец Майер — плотничал. Он тоже воссоздал свой дом из кулацкого, когда немцев Поволжья сюда пригнали. За три дня он мне сделал, остеклил и поставил раму. Рычковы, старики, у которых брала молоко, дали мне старый «подтопок» с трубой (так здесь называют железную печку) и глину для ремонта. Дров — сушняка, у самой деревни, в лесу — сколько хочешь. Навозила салазками. Вставила в отверстие русской печи железную трубу, затопила подтопок. Горит хорошо. Стало в избе тепло. Растопила замерзшую глину, подправила под и чело печи, подштукатурила стены. Тут пришел Хасэгава. Осклабясь, поклонялся, как всегда, пятясь задом, покачал головой. Потом взял топор, стал сколачивать пол, дров наколот.

Словом, за неделю было готово жилье, и солнце засветило в окна.

* * *

Появился свой дом и оседлость. Пришла из Крыма, от друзей, посылка с книгами и продуктами, от детей из Москвы — фотоаппарат, который я просила, — буду снимать, а за снимки получать натурой: картошку, яйца. Фанерная крышка от посылки стала книжной полкой, полученный в ларьке ящик из-под пряников — фотолабораторией.

В морозы дом выстывал, конечно: вода в ведре замерзала; но на печи спать не холодно. Утром я растапливала подтопок, и струи горячего воздуха от железной трубы бодро расходились по комнате. Можно сесть и читать и писать. Никого... Тишина... Только белые гуси под окном гогочут и купаются в первых весенних проталинах.

Я ли восстановила этот старый разрушенный дом, превратив его в жилье человеческое? И для чего он был нужен мне? Нет, соорудили друзья. Далекie, те, что были в Крыму и в Москве, и в Ленинграде, и в лагерях. Не тем, что прислали посылки и деньги, а тем, что уже на третий месяц ссылки кончилось у меня чувство заброшенности и одиночества, подавлявшие вначале: я почувствовала руки друзей.

Тут надо сказать о милости, которую подарила судьба: во время своего заключения я чувствовала всегда — есть близкие люди. И в лагерях, и на воле есть. На Колыме, оставив маленьких детей, я в отличие от большинства женщин знала, не одиноки мои дети. Есть руки, которые их поддержат, люди, которые не бросят ни мать, ни детей моих. Так и было. Надо назвать имена друзей моих, хотя бы умерших, потому что о живых приучены мы не говорить. Елена Михайловна Тагер и Софья Гитмановна Спасская поддерживали мою мать, пока сами не были арестованы. Герман Михайлович Крепс заботился о детях моих, пока не умер. Заботились и другие, живые еще, родные и друзья. А во второй тур подросли дочери мои почти до самостоятельности. Основная тревога была о стареющей матери. Но я знала — поддерживают ее и Вера Федоровна Газе и Григорий Абрамович Шайн*.

Я чувствовала теплую опору там, на воле: чем могут, помогут. Не испытывшим бреда сталинской эпохи, пожалуй, непонятна огромная сила этой веры в дружбу. Дружба для человека почти такое же естественное чувство, как солнечный свет или отдых при усталости. Основой сталинского режима было разрушение естественных чувств. Был проделан социальный опыт: как создать полную автоматическую покорность? Для этого представлялось наиболее пригодным нарушить естественные реакции человека — заботу о близких, веру в друзей, умение отличать правду от лжи. Это было основным для бредового состояния, в которое была поставлена страна: перестать понимать, где правда, где мистификация, кто враг, кто друг. Возводились обвинения в чудовищных поступках. Заставляли людей признавать их. Ложь скапливалась до осязаемой плотности, начинала, как твердое тело, давить на сознание. Под этим давлением запутывались не только обвиняемые, но и обвинители: стирались грани — что правдоподобно, а что неправдоподобно. В отчаянии, в ужасе от пребывания в бреде, люди впадали в беспредельное одиночество: они не знали, кто предал их, что бросило их в гигантскую мясорубку? Над ней стоял серый туман страха. Он охватывал тех, кто еще не попал под нож мясорубки, и заставлял метаться, отрекаясь от самых незыблемых, самых близких связей: дети отрекались от родителей, жены от мужей, друзья отказывались от друзей и братья от братьев. Пожалуй, только матери не отказывались от своих детей — я не помню, чтобы слышала слова, — «мать отказалась от меня».

Особенно трагичным было положение партийцев: они привыкли думать, что партия — их добрая мать, заботящаяся о них, поддерживающая и направляющая их шаги. И вдруг, неожиданно, эта мать с легкостью отказалась от них, швырнула своими руками в мясорубку. А вместе с ней от них отказались все: каждый друг поднимал свой партийный билет и прятался за него. Человек оставался оголенным, лишенным покровов и связей. Был совершенно один в бредовом мире теней и со страхом смотрел: кто окружает его? Какую гримасу сделают тени? Чем они обернутся?

Положение беспартийных было лучше: почти всегда у них оставалась связь с семьей. Она приносила боль, страх за семью, ее беспомощность и обреченность, но она же служила отрадой, укрепляла незыблемость сознания.

Лишь немногим была милость судьбы: сохраненная вера в друзей, гордость друзьями. Это давало огромную силу. Это был тот спасательный круг, который в царское время держал горсточку революционеров в водоворотах борьбы с императорской властью. Проводившие дьявольский социальный эксперимент —

* Бабушка и сестра были на моем иждивении с 1948 г. Я работала, и друзья были. Они писали маме, бывали у бабушки (Примечание Г. Ю. Гаген-Торн).

приведение человека к полной покорности — по царскому времени знали спасительную силу этого круга. Поэтому в первую очередь старались его разрушить. Если не удавалось — человек оставался духовно неуязвим, выплывал из водоворота.

Мои дорогие друзья, умершие и живые еще, это Ваши руки держали меня и дали мне силу. Как можно отчаяться, опуститься на дно, перестать быть самой собой, когда знаешь, в тебя верят. Значит — выплыву, значит — останусь сама собой, не согнусь.

Это сохранило мне ясность глаза этнографа в экспедиции, а не раба. Для этого слепила я дерево и глину в жилой дом, вместилище мыслей и ритмов.

* * *

Текущие дни не остаются в памяти. Я восстанавливаю те дни по отрывкам записей и письмам, которые сохранились.

Начинаю восстанавливать с окружения, с соседей. В забор рядом со мной стояли в одном дворе две избы. В большой жила Онисья Ивановна, в маленькой — Липа. Она — вдовы двух братьев. У обеих есть дети, но дети где-то далеко, в городах, и живут они одинокими.

Через улицу от меня — старики Пантелеевна и Егор Романович. У них сыновья тоже в городах, «в большие люди вышли». Старики бледнут крепкий быт исконно зажиточного сибирского крестьянства.

Большой пятистенник. Сени рубленые, стены, пол и крыльцо масляной краской крашены. В избе припечек и стены тоже крашеные. На белых окнах «сады в горшках и занавески. По лавкам — тканые дорожки, а у стола — деревянные стулья. В горнице — тоже стулья, комод, домотканые половики и крахмальные занавески. Все крепко, устойчиво, как было 30—40 лет назад, когда, поживишься, сладили они жизнь.

Основная прелесть для них, как для всех стариков — воспоминания. Егор Романович рассказывает: «Вольно здесь жили-те — выйди на гору, посмотри, где полюбится — вырубай тайгу и начинай, паши, сколь тебе полюбится, запрету нет... Вольная была тайга. Начальство — раз в год видели: приедет осенью урядник, соберет подати, рубля по три или по пять со двора и уедет. Поп тоже приедет раза два в год, окрестит, кто родился, повенчает, кто оженился, и опять уедет. Церковь-то только в Казачинске была, туда мало кто ездили.»

— «А управлял кто в деревне?» — «Како тебе управление? Ну, старосту выбирали, конечно. Когда надо — соберет мужиков: „Мужики, у нас мост через ручей проваливается, когда строить будем?“. Договорятся, кто бревна подвезет, кто рубить станет — и ладно. Зимой опять соберет: „Мужики, кого выбирать станем проруби рубить?“. Погалдят и договорятся, за сколько и кого наймовать. На Енисее в зиму три проруби делали: вверху для питья, пониже — скотину поить, еще пониже — белье да порты полоскать. Проруби вениками обсаживают, надоть и в порядке держать. Особого для того человека наймывали, он же и колоду на ручье прочищал, коней поить. Столовался он по очереди, порядком известный. А больше — како управление? Как хочет, так и живет хозяин. Спокойно было. Беспокойство еще, когда присылали к нам ссыльных.

Присматриваемся: что за человек есть? Разные, бывает, люди. Политические, те — ничего: станет к кому на квартиру, деньги платит, сидит, читает. В учителя для ребят мы их наймывали.»

— А школа у вас была?

— Нет, школы не было, так, обществом наймывали учителя, в череду, по избушке, собирали их.

— А государство как?

— А кому како дело до наших ребят? Хошь — учи, не хошь — пусть болтаются. Ну, понимали мы, что без грамоты нельзя, находили учителя.

— А лечил кто? Доктор или фельдшер был?

— «В Казачинском была больница, а по деревням старухи травами лечи-

ли», — подхватывала Пантелеевна и начинала рассказывать о травах. «Политические тоже, бывает, лечили, — добавлял Егор Романович, — но они птицы перелетные, поживет, поживет, да и уедет. На вечное поселение не политических тюремников посылали. Тут остро смотрим: какой человек? Если живет смирно, работает, не болтается без дела, года три как поживет — ему и говорят старики: вот что, паря, — входи в общество. Избу рубить тебе — поможем. Выбирай девку, женись, в приданое за ней скотину дадут, хозяином ты и станешь. Так и наши деды садились. Будешь работать — жить у нас можно. Чего не жить-то? Хошь — рыбаць, хошь — в тайге промышляй, хошь — в извоз ходи. — Вольно жили.»

Иван Иванович Рычков подтвердил: «Жили, не ведая ни власти, ни политики государства, словно бы, не входя в него. Сами по себе жили. В обозы ходили». Иван Иванович «со товарищи» возил зимой обозы до Якутска и вниз по Енисею. Был он, да и остался, неграмотным. Расписок и счетов в получении товаров не знали, «на слово верили.» Чудилось от его рассказов: как букашки по карте, ползли по Сибири, скрипели полозьями, конные обозы. Пересекали ее старые кожные тропы. Слово в разных пластах времени шли струны телеграфа, кольца железной дороги и санные пути. Еще не врубалась городская стальная жизнь в тайгу, жили там по своим обычаям. Рассказывал Иван Иванович: «Обещался кто, к примеру, мне вернуть товар или деньги там к Покрову. Приходит Покров — не возвращает, просит отложить до Николина дня. Ну берут бирку, ставят зарубку. Придет Николин день, отдаст он — ломают бирку, все слава Богу. Не принесет к сроку — опять зарубка. Не принесет вовремя — пушу бирку по рукам, извещаю тем: ненадежный человек. И нет ему боле ни у кого кредиту. Опасались этого.»

Как назвать, уважаемые товарищи, такие взаимоотношения? Зарей капитализма? И величать ли этих, развозивших по Сибири товары, людей предпринимателями или кулаками? Не знаю. Как-то не укладывается в кулачество старенький Иван Иванович, рассказывавший про эту жизнь. Оборвалась она на барже, спущенной вниз по Енисею до голого места, где зимовали сосланные кулаки, питаюсь добытой в петлю дичью. Кулаки ли они?

Выжил Иван Иванович и, вернувшись в Залив начал все сначала. Ездил лишь за кедровыми орехами верст за 80 вниз по Енисею и сдавал их государству. По установленным ценам давало ему государство дозированные продукты: хлеб, керосин, соль. Было ли это социалистическими начинаниями? Не знаю. Но должна сказать, что в деревне старики как-то предпочли бы жить без опеки и отеческой заботы государства.

* * *

С соседкой Онисьей Ивановной были у нас о другом беседы. Учила она меня, как сохранять всю зиму свежими испеченные калачи: «Прямо из печи, горячими, нанижи их на палку и сразу в казенку, на мороз (казенками зовут в Сибири кладовые), хошь — месяц будут лежать! Как понадобятся, внести в избу, оттают и — как сейчас из печи. Только сразу, говорю, надо выносить, горячими.»

Сидя за тканьем пестрых половиков, постукивая бердами, рассказывала она сказки. Одну из них я много позднее записала на Ангаре.

Липа много моложе своей невестки, прошлое не интересовало ее. Она ожидала будущего, загадывала, что будет, как сын ее кончит ученье в штурманской школе, станет штурманом плавать по Енисею. «Загудит пароход на реке, станет у сигнальных бакенов и — опять загудит, — мечтала она. — Я и догадаюсь: это Колька мне знак подает, что пароход вниз ведет. Выду на берег, помашу ему — приезжай, мол, домой!». Муж у Липы пропал в войну, одна она вырастила своего Кольку и жила, ожидая, «как Колька в люди выходить станет». Колька у нее один, а у другой соседки, Марии, ребят пятеро. Муж у нее тракторист, в своей деревне почти не живет, все на МТС. Дом и ребята целиком на Марии. «Маль-

чишки ништо,— говорила она,— мала забота: уйдут в армию, там и выучатся, приобретут специальность. Назад в колхоз ни один не придет. А вот девчонок — учить надо. У нас только в Пяткове семилетка, надо куда-то дальше отправлять. Дорого на квартиру ставить, продукты возить, а надо девкам специальность приобретать. Учиться колхоз не имеет права не отпустить, а выучится — поезжай куда хошь. Не выучишь — оставайся в своем колхозе куковать. Ни тебе заработков, ни женихов. Ребята с армии ни один не ворочается, куда девкам деваться? Обязательно их учить надо». Так делали многие, и не только в Заливе: в Казачинске мне рассказывали учителя, что в старшие классы из деревень присылают почти исключительно девочек. Мальчишек оставляют дома до армии. А уйдет в армию и — отрезанный ломоть, домой не вернется.

Когда я уехала от Сергенича, ко мне чаще стали приходить люди — сама хозяйка, никто не станет мешать. По утрам, истопив печку, я садилась писать. К вечеру — появлялись посетители.

* * *

Ужас заключается в том, что не можешь ни одной своей мысли формулировать, не сверяясь внутренне: а законно ли это? А дозволено ли это будет? Каждое, сколько-нибудь оригинальное суждение уже одиозно. И никто не говорит то, что думает, но лишь то, что дозволено думать на сегодняшний день. Меняется день — меняется установка, и каждый спешит подтвердить новую установку и заплевать старую. И делая так, не стыдятся смотреть друг другу в глаза, утверждать диаметрально противоположное тому, что говорили лет 10 назад? В 30-е годы моден был Марр, и целые библиотеки написаны в защиту и прославление марровской теории, и никто не смел высказываться иначе. Сейчас Марр признан вредителем, от него отрекаются, его отрицают и пинают по-всячески. И все это знают и не стыдятся. Впрочем, нет — верно, все-таки стыдятся: ведь недаром же Сергея Толстова в возрасте до 50 лет хватил удар? Это результат внутренних потрясений. Он, несомненно, человек талантливый, а трудно человеку с талантом и темпераментом идти противу собственных мыслей — это разрывает сосуды в голове.

Я начинаю писать и останавливаюсь.

1. Что могу я написать серьезное, не имея в руках никаких источников? 2. Как могу я написать, когда не смеешь думать так, как думается, а как велят указания? 3. Ведь то, что думаю я, многие верно понимают, но не говорят.

И вот все-таки именно потому, что никто не говорит, хочется засвидетельствовать нелицеприятно, как я понимала и думала в эти годы. Оставить как мемуарный документ человека определенного класса и поколения. Человека, который всем сердцем хранит веру в лучшее будущее человечества, но не хочет прятать, какими путями и муками шла наша эпоха. Хочет правдиво показать в будущее микроразрез эпохи, отложившийся в одной жизни и ее наблюдениях. Л. Н. Толстой в «Севастопольских рассказах» свидетельствует: «Главный герой всего этого — правда. Правда, как я ее увидал». Толстой, гений, видел огромный объем жизни и об этой, широко зачерпнутой жизни писал. Пусть бы каждый брал хоть на ту ширину, что по силам его, но писал до конца правду, не сглаживая и не пряча ее противоречий. Так хочу делать я, потому что пишу не для сегодня и не на завтра, но для Великого дня — Будущего.

27.III. Читала книгу Олеса Гончара, получившего две сталинских премии: роман и дальше в том же тоне — повесть «Микита Братусь» и рассказы. Первое чувство — негодование: ну можно ли так бессовестно лгать! Ложь, все ложь, самая неприкрытая и беззащитная. Он не может не знать, что лжет. Может, думает — так нужно? Это странная психология: новое поколение выросло, воспитанное на том, что велят видеть, нужно видеть именно то, что велят, и уметь закрывать глаза на остальное. Он не может не знать о тысячах заключенных, о миллионах страданий и делает вид, что все счастливо. И невольно встает вопрос: а может, и не делает вид? В самом деле не знает? Ведь не может же человек так лгать?!

Жизнь многогранна и многообразна: там, где один человек увидит дерево, другой — только тень его; и тень будет ломаться по песку кривой линией. Библиотекарша, которая мне давала книгу, сказала: «Очень, очень интересная!» Видно ей-то и вправду кажется, что все это «отображает действительность» — ведь такова задача реалистического искусства.

Иногда мне кажется, что я — последний из могикан, не умеющий понять этого нового мира и не умеющий его увидеть. А надо увидеть! Не может быть, что все — ложь. В этом какие-то новые, мне недоступные формы жизни. Настоящая высота заключается в том, чтобы уметь проникнуть в любую чуждую форму, уметь посмотреть непредвзятыми глазами. И вот я честно стараюсь увидеть, как прорастает новое? Куда направляется этот рост? Новое, несомненно, сменяет старое, сменило уже во многом.

И не скажешь, что это старое было лучше. Вот я расспрашиваю о том, как жили раньше. И все, даже эти старейшие старики, которые по старости, конечно, являются сторонниками прежнего, в рассказах о прежнем признают — «тогда было работали-те». Из рассказов Рычкова и хозяина моего, Сергеевича, встает прежняя жизнь: добротная, крепкая, грузная. Валили лес, били зверя; чтобы убить соболя, срубали дерево, чтобы добыть орехи — тоже. Жгли лес, потому что сила его была несметна, и не могли додуматься даже сделать печи с дымоходами: у них до сих пор пол-избы занимают тяжелые, глинобитные русские печи, где нет ни одного колена — летит прямо в трубу огонь, прогревая тяжелый глиняный свод только частью тепла сожженных дров. Выстывает печь. Тогда затапливают «подтопок» — чугунную печурку, раскаливаемую докрасна. Этими печурками и обогреваются. По «горницам» здесь только печурки и стояли, о голландских печах понятия не было даже. — «А дров кругом хватало, коней, возить, тоже хватало». И феноменально глупое отопление «чугунками», даже без дымонок, существовало до последнего времени. Дома были большие, крашенные и снаружи и внутри, бревна мыли и терли, крашеными были и полы, и наличники, и лавки, и столы — здесь почитали первым признаком благоустройства «крашенный дом». Полы застилали ткаными, полосатой шерсти половиками, полати, полки и кровати занавешивали ситцевыми занавесками, «чистоту» культивировали как признак зажиточности. Сюда входили и «сады», т. е. фикусы и алоэ в крашенных туесах. Но стирали — в поганой шайке, из которой и пол мыли, бани по-черному существуют до сих пор. Быт хранит остатки примитивности и какой-то, я бы сказала, переселенческий элемент. Именно потому от него оторвались, переходя к новым формам, почти незаметно. Например, семья: здесь и раньше, сколько помнит это старейшее поколение, сходились и жили, не венчаясь, или венчаясь потом. На это очень просто привились городские, современные взгляды о легкости расхождений и вольности отношений. И теперь какой-то вовсе странный быт воцарился: старожилов почти не осталось, больше половины населения — пришлое, ссыльное. Но они женятся на местных, входят в местную жизнь под присказку: «наши деды-те тоже ить ссыльные же были». Дома продаются и покупаются с легкостью велосипедов. Они перестали быть «недвижимой собственностью» — их передвигают. Чуть ли не каждый дом переезжал на своем веку. И чуть ли не каждый хозяин менял два-три дома. Быт тоже перестал быть неподвижным, потому, что почти все где-то побывали. Мужского населения (молодого, здорового во всяком случае) в деревне почти нет — только ссыльные. Уходя в армию, парень ни один не возвращается в свой колхоз, девушки селятся учиться и тоже поступить на какую-нибудь работу. Не знаю, как живут в других местах, здесь продолжается то же, что наблюдала в Чаше: отлив из колхоза всего наиболее здорового, энергичного, инициативного. Но есть все-таки случаи, когда молодежь не хочет никуда уходить и хочет работать в колхозе. Встречала и таких. Каждая семья теперь расслоена: почти в каждой есть те, кто «выбились в люди», стали учителями, зоотехниками, мастерами на производстве. Они меняют быт и все больше вносят в него городские навыки. Они презрительно относятся ко всему старому — «темнота». И они — правы: они знают больше, у них шире кругозор, они слушают радио, ходят в кино, читают газеты. И так как

их много, они есть в каждой семье, это становится массовым, общим. Как общей уже стала привычка лечиться, принимать лекарство и рассуждать о своих болезнях, оперируя медицинскими терминами. Но, боже мой, как ограничен и у них кругозор! Основной идеал: чистая кровать, вязаная салфетка на столе, занавески на окнах, радиоприемник. Высшее удовольствие — хорошо одеться. Лучшее отдохновение — пьянка. Пьют здесь, впрочем, все. Поют не переставая. По традиции старых «гулянок» собирают «вечера», варят брагу, гонят самогон, «стряпают»: гуляют по 2—3 дня, собирая гостей по 30—40 человек. «У нас раньше в праздники гуляли, а теперь когда придется». В этом отличие. Теперь, впрочем, все делают «когда придется». И топят печи, и едят. Старый ритм и уклад — сбиты, новый — еще не установился. Какой он будет — новый? Он, несомненно, идет, идет во всем мире, пробиваясь мучительно. Он сметает уже недвижимость, культ хозяйства... Увеличение свободного времени в деревне признают все. Сейчас не умеют его использовать по-человечески: просто сидят, болтают, перебирая им доступные события и новости. Смотрят в окна. Каждый проходящий человек вызывает обсуждение: куда и зачем? Раньше такое было у мещан, крестьянам некогда было, да и не было таких отвлекающих внимание и развлекающих явлений в повседневности. Сейчас как бы вся страна превратилась в мещан: она приняла внешние навыки города и бессодержательность полугородской жизни.

Целью крестьянина было заведение хозяйства. Тут нажива собственности превращалась как бы в творческий процесс, в самоцель. Он не допивал, не доедал, не досыпал, потому что этого требовало хозяйство. Оно важно было — как цель жизни, ради которой жертвовали и собой, и чувствами, и близкими. Фетиш хозяйства отпал. Это несомненно. И — слава Богу! Но взамен осталась глухая пустота. Олесь Гончар и подобные ему уверяют, что появилась новая цель — общественное благо и прогресс. Я этого не вижу. Рада бы, очень рада увидеть, да никак не встречается ни одного энтузиаста! И если раньше нажива хозяйства для крестьянина являлась творчеством, и тем самым — поэзией жизни, теперь она ограничивается стремлением хорошо поесть и одеться. Причем раньше человек все делал для хозяйства, в котором подразумевалась хозяйственная единица — семья как нечто устойчивое, тянущееся из века в век, теперь каждый имеет в течение жизни две-три сменяющиеся семьи, и все что он добывает — на сегодняшний день и в основном для себя.

Быть может, это тоже хорошо? Быть может, это — выколупывание индивидуума из рода? Оно — необходимо. Раньше индивидуумами, достигавшими чрезвычайной рафинированности, были только представители привилегированных классов. Теперь каждый начинает ощущать свое «я». Он еще не знает, куда ему деть и что ему делать с этим «я», оно, пробуждающееся, еще томит его. Но через два-три поколения он научится. Научится думать, научится любить, научится проявлять свою любовь. Все это — продукты свободного времени. Давно сказано: лень — мать культуры, т. е. культура создается из стремления к свободному времени и умения его использовать. Этим заняты сейчас миллионы.

Л. Н. Толстой инстинктом чуял, как свойственно гению, основные проблемы подступающего времени. И он недаром заговорил о необходимости физического труда для каждого человека. Потому что одна из основных проблем современности — координация умственного и физического труда. Толстой, «граф-парх», разрешал ее тем, что брал в руки топор, плуг, косу. Он сомневался в благах цивилизации, в необходимости железных дорог, в счастье, которое приносит механизация. Это потому, что он «перепользовался» всеми этими благами и устал от них. Выступающие вперед слои с жадностью детей хватаются за механические игрушки. Им кажется, что счастье человечества наступит, если все смогут пользоваться электричеством, машиной, даже сами превратятся в винтики гигантской машины, которой управляет кто-то сверху. Это потому, что они еще не испытали, не впитали в себя это. Будет ли это счастье? Привилегированная оторванность от всякого физического труда давала гипертрофию индивидуальности и вызывала томление ее.

Включение человека в механически централизованные процессы вначале



Рис. 2. Хасэгава — товарищ Нины Ивановны по енисейской ссылке

создает авторитарное мышление, так как человек еще не умеет пользоваться своей индивидуальностью. А в дальнейшем? Куда денет человек появляющееся свободное время? Научится индивидуально думать или стандартизируется? Если научится индивидуально думать — он потребует для этих мыслей свободы вкусьте соблазн противоречий и сомнений, т. е. превратится в интеллигента. Если стандартизируется — мысль не сможет двигаться вперед. Ибо воистину существует закон диалектики, а это значит: всякое движение идет путем развития противоречий, стандартность же — исключает противоречия.

Для меня лично, быть может, в силу моей классовой принадлежности, возможен только тот путь, который предложил Толстой: трудами рук своих выращивать хлеб для себя и в этом находить удовлетворение. При этом, если Толстой и его последователи делали это вполне добровольно, отказывались сами от паразитирующе-умственного труда, мне теперь жизнь вменила это в обязанность, лишив меня умственного труда как средства к существованию. Я вынуждена быть работником физического труда. Моя задача: разрешить это так, чтобы он пошел только на благо и накопление духовной энергии. У Толстого Левин развлекался физическим трудом, и это становилось у него базой для философствования. Я должна жить физическим трудом, освещая его философией. Это очень трудная задача, и я в ней очень одинока. Потому, что интеллигенты панически бегут от физического труда, предпочитая ему любое, даже бессмысленное, бумагомаранье, а люди физического труда — шарахаются от мышления. В добродетельных книгах они «культурно развлекаются», а в жизни больше просто пьют...

Приобретение своего жилья дало свободу распределять время. По утрам, истопив печь, я садилась писать — кончила начатую в лагерях и присланную Ликиным повесть.

К вечеру у меня появлялись гости. Соседи. Или, осторожно постучав, входил Хасэгава. Долго кланялся, отступая к порогу, по японскому этикету. Я тоже кланялась: «Здравствуйте, Хасэгава-сан,— приглашала войти. — Мне прислали посылку, и я приготовила рис. Прошу Вас, попробуйте!» Всегда сдержанный и церемонный, он сел. «Семь лет,— он показал на пальцах,— семь лет я не видел риса.» Я протянула ему тарелку. Это была не еда — причащение к родине. Узкие черные глаза светились. Он ел, и я понимала: еда эта — воскрешение жизни, восстановление себя в прошлом.

Хотелось от безмолвного пониманья перейти к речи, к рассказу, но не было слов. Однажды он привел с собой товарища. Молодой человек, лет 27, склонил

светловолосую голову и поцеловал мне руку, жестом человека, привыкшего к этой форме вежливости.

— Золтан Риво,— отрекомендовался он.

— Здравствуйте! Что бывший з/к — понятно,— улыбнулась я,— давно ли здесь и откуда прибыли? (З/к всегда начинают с этого вопроса, потому что он может установить связи с близкими.)

— С Лубянки. Просидел там пять лет. Арестовали меня в 45-м году в Болгарии: я преподавал в Софийском университете. А родом из Будапешта. А вы из последнего этапа?

— Да. Прибыла из Темниковских лагерей, где отсидела пять лет. Ритуал знакомства был совершен.

— Вы хорошо говорите по-русски,— сказала я.

— Выучился в тюрьме. Сидел я больше в одиночке. Мне давали много русских книг. Начал легко, потому что знал болгарский, и это помогло. Вот и познакомился довольно подробно с русской литературой. Книг в тюрьме много дают.

— Не всем.

— Я считался не арестованным, а «временно задержанным» и имел некоторые привилегии,— он улыбнулся,— Хасэгава-сан пользуется моими переводами, мы с ним объясняемся по-английски.

От Золтана Риво я узнала биографию Хасэгавы. Химик по специальности, он был главным инженером на военном заводе в Корее. Когда японцы под давлением советских войск покинули Корею, он получил приказ японского правительства: взорвать завод. Выполнил приказ, но не успел уйти, попал в плен. Его отправили в советские лагеря, где он пробыл с 1945 по 1952 год, а потом — в ссылку. Хасэгава слушал внимательно, переводя глаза с Риво на меня, стараясь понять рассказ. «58-1а»,— сказал он, разводя руками. Улыбнулся:

— Мико-мико-дей, помогай!

— Кто такой Мико-мико-дей? — спросила я у Золтана.

— Бог смеха Мико-мико-дей — ответил Хасэгава, поняв вопрос. Ему действительно помогал этот бог: позднее он приходил ко мне с искорками смеха в глазах, заменяя мимикой недостающие слова, изображал комические сценки, которые видел в колхозе — его поставили сторожить колхозный инвентарь.

В чужой стране ему было смешно и удивительно смотреть, как валяются под открытым небом машины, как весной колхозный председатель бежал и суетился, торопя сжечь неубранное осенью поле пшеницы, потому что боялся, как бы не наехал из района кто-нибудь и не нагорело за прошлогодние огрехи. Мне не было смешно. Японца потешала неорганизованность работ, нежелание работать. Мне становилось стыдно перед ним за то, что делали, как стыдно было и на нелепость суда над ним: почему военнопленный, выполнявший приказ своего правительства, получил наказание по статье 58-1а, гласившей «измена родине»? Какой родине он изменил? Помочь пережить ему мог только старый бог смеха «Мико-мико-дей».

* * *

В апреле стали темнеть и таять снега. Ручьи потекли по деревне. Тронулся Енисей. С моего крыльца было слышно, как звенел он бегущими льдинами. Лдины наскakiвали, поднимались, как белые медведи, на задние лапы, выполняли на берег. Сшибались, раскалываясь на голубые хрусталины. Хрусталины под солнцем превращались в ручьи, бежали обратно в Енисей. Свежий ветер летел и летел, нес на север гусиные стаи.

Хасэгава пришел ко мне на урок. Когда выпускали из лагеря, ему выдали валенки, в них нельзя весной ходить по воде, он сделал себе японские сандалии на высоких деревянных колодках. Портянки намокали, ноги были красные, как у гуся, но он долго не заходил в тепло избы: на крыльце мы смотрели ледоход. Летели серые гуси, летели белые облака в голубом небе, белые лдины плыли по Енисею. «Карасиво» — сказал Хасэгава, показывая рукой на бегущие тени, на силуэты лиственниц по скалам. Он покачал головой: «Кент! Рокуэл Кент!» —

«Правда, похоже,» — обрадовалась я. И подумала, не надо много слов, чтобы понять друг друга, нужны общие ассоциации, они международны в определенном культурном слое. И у меня их больше вот с этим японцем, чем с бакенщиком Сергеем.

В деревне Залив в 1952 году общие ассоциации в искусстве оказались у шестидесятилетнего японского самурая, пятидесятилетней русской интеллигентки и молодого венгерского филолога. Называя источники ассоциаций, мы могли общаться, минуя разноречие. Вечерами, рассматривая великолепие переливающихся красок вечернего неба, я говорила Хасэгава: «Бах, Себастиан Бах.» Он радостно кивал головой, любуясь фугой небесных цветов. Иногда не соглашался: поднимая палец, зачеркивал мою мысль и говорил: «Лимошко (это значило «немножко») Вагнер.» Указывал на потоки небесных огней, опускавшихся на скалы. Они напоминали вагнеровскую «Гибель богов».

Я по-русски читала ему стихи. Смысл слов был необязателен, звук передавал настроение. Он отвечал мне японскими стихами. Увы — у меня было много меньше японских ассоциаций, чем у него европейские! Он учил меня приемам японской живописи, указывая сочетания красок, которые стремятся передать японцы, называл незнакомые имена японских художников и столетия, когда они жили. Летом он стал приносить букеты цветов, составленные как художественные произведения: у японцев обучают искусству составлять букеты.

Он садился на крыльце, в арестанских штанах и грубых ботинках, но каждое движение его оставалось изящным и продуманным тысячелетним этикетом японской культуры. Поднимал круглую голову с узкими темными глазами: древняя мудрость Японии смотрела на эту варварскую страну... Он не всегда умел применяться к обычаям: Золтан раз встретился мне на улице и сказал: «Знаете, хозяйка дома чуть не побила Хасэгаву грязной тряпкой, устроила страшный шум...» — «В чем же дело?» — «Он нагрел воду на солнце и при всех, совершенно нагой, как это принято в Японии, хотел мыться. Хозяйка закричала: «Ах, охальник! ах, срамник какой!» Кинулась на него с грязной тряпкой: «Вон убирайся!» А он ничего не может понять. К счастью, я подошел. Пришлось забрать его ко мне».

Не умел японец и получать пропитание. Колхоз обязали выдать продукты приехавшим из лагерей как «аванс на трудодни». Нам выдавали картошку, немного муки, раза два за весну дали мясо, чтобы не уморить перед посевной. Ему выдавали гнилье, и пришлось нам потребовать, чтобы не обманывали его. Заявили мы, что он не будет ходить на работу босой, по талому снегу. Председатель колхоза ворчал, но выдал ему ботинки, тоже «в счет аванса». Золтан Риво поселил его у себя и как мог — опекал.

Золтана встречала я редко.

— Почему вы не приходите ко мне? — спросила его — мне пришли книги в посылке, ведь вас интересуют вопросы славянского языкознания? У меня журнал «Советская этнография» есть, теперь и книги по языкознанию. Приходите посмотреть.

Риво покраснел: «Это очень интересно... Если позволите, я зайду с женой.» — Заходите, конечно!

На следующий вечер он пришел с конопатой подкрашенной женщиной лет сорока.

— Феня — сказала она, подавая мне руку дощечкой.

— Здравствуйте! — улыбнулась ей я. — Проходите, садитесь пожалуйста! Риво помог ей снять пальто и церемонно подвинул единственный табурет. Она села, сложив на коленях руки, неподвижно и прямо глядя перед собой на стену.

Риво подошел к книжной полке. — «Державин? — заинтересовался он. — Я в Болгарии видел его книгу о болгарских колониях в России.» — «Да, он занимался говором этих старых колоний до революции. Собрал и этнографический материал...»

Заговорили о связях этнографии с языкознанием. Риво увлекся. Я тоже. Рассказывала о методах этнографии, об учителе моем Д. К. Зеленине, слависте широкого профиля.

Феня молча сидела и смотрела на нас деревянными глазами... — Так хочется поговорить на научные темы! — сказал Золтан, как бы оправдываясь.

— Ну, конечно! Приходите, берите книги! Вот Штрот... У него интересно поставлен вопрос о фольклористике. Я могу вам дать эту книгу.

— Спасибо!

Феня поднялась с табурета: — Ну, Золтан, пойдем, нам надо дрова пилить.

Он покорно подал ей пальто, она протянула мне руку дощечкой, покосилась, наблюдая, как он склонился, целуя мне руку, и гордо пошла к двери.

Я поняла по интонации, что она местная. Что связало их? Сосед мой, Майер, рассказал мне об этом. Прямо этапом, из московской тюрьмы доставлен был в Залив Золтан Риво. Приютился он, от сибирских морозов, у Майера на печи, «как петух в корзине». Оглядывался — как дальше жить? И появилась тут Феня. Муж у нее на войне пропал, живет одна, баба бойкая. Пришла в гости звать. Напоила, накормила, приголубила. «Какой ни мужичок, все в хозяйстве находка,» — сообщала она людям. А ему, пожалуй, по-другому говорила, потому что приняла он это за любовь и ее стал считать женой. Ему было 22 года, когда посадили в тюрьму. Пять лет не видел он ни одной женщины, пришла женщина пригрела, обмыла, одела, он счел ее своей женой, и стал европейский интеллигент относиться к бойкой Фенечке, как его учили относиться к жене. Фенечка гордилась и радовалась, ходя с ним под ручку. Справила ему полупальто и хромовые сапоги, «чтоб приличнее было». А он, как только мог, вкладывал силы в ее хозяйство. «Молодого и целого мужика получила, — говорили, вздыхая, бабы, — немного мужиков-то в деревне после войны.»

* * *

Я пишу о прожитом из сегодняшнего дня и невольно откликаюсь на прошлое сегодняшним, 4 сентября 1967 г. похоронили Илью Эренбурга.

Мы не скоро почуяли оттепель. К нам подошла она голыми черными ветками на снегу. В сыреющем воздухе, не поднимая глаз, продолжали мы заниматься своими делами, не веря в какие-нибудь перемены, внесенные смертью Сталина.

Первые признаки этих перемен сказались у нас в ссылке месяца через два. Ослабел режим: прекратилась ежемесячная регистрация ссыльных, стали ездить в Казачинск, не спрашивая разрешения режиссера, а он делал вид, что не замечает.

Потом пронеслась новость: иностранных подданных отпускают на родину. Я встретила Золтана на улице: — «Правда, что Вас отпускают в Венгрию?» — «Да, предложили заполнить бумаги, но я не могу уехать, оставив жену. Подал заявление, чтобы ее отпустили со мной.» — «А не будет там ей трудно и одиноко? Ведь она не знает ни одного языка, кроме русского? И вряд ли легко выучит.» Он пожал плечами: «Тогда придется мне остаться здесь, я не имею права бросить жену.» — Что можно сказать на это? Я перевела разговор: «А Хасэгава как? Он у меня давно не был.» — «Разве вы не знаете? Вы же написали ему заявление, чтобы разрешили работать механиком на лесопильном заводе. Разрешили, через несколько дней туда уезжает.»

Лесопильный завод был в 10 км вверх по Енисею. Через несколько дней Хасэгава пришел прощаться, он переезжал туда. Это было большое облегчение: на лесопилке он будет получать зарплату, питаться в столовой, сможет купить хоть какую-то одежду. В июле он явился ко мне в гости в чистой белой рубашке, крепких штанах без заплат, с коробкой конфет и неизменным, прекрасным собранным букетом цветов. Но глаза стали еще более грустными: у него появилось время и силы, чтобы тосковать по настоящей, подлинной своей жизни. Ведь в предельном напряжении нельзя тосковать — надо выживать.

Надвинулось и покатилося лето. Огороды были засажены, весенние работы окончены. В газетах мы прочли, что пересматривают дела заключенных.

Публикацию подготовила Г. Ю. Гаген-Торн